

НАСЛЕДИЕ ГУЛАГА В СОВРЕМЕННОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Ольга Ултургашева

Ольга Ултургашева – приглашенный редактор номера. Преподает социальную антропологию на кафедре социальной антропологии в Манчестерском университете. Адрес для переписки: Arthur Lewis Building 2.047, School of Social Sciences, University of Manchester, Oxford Road, Manchester, M13 9PL, UK. olga.ulturgasheva@manchester.ac.uk.

Несмотря на то, что прошло уже более полувека с момента официальной ликвидации организации под названием ГУЛАГ (Главное управление лагерей), советская система принудительного заключения и ссылок до сих пор не утратила своего непостижимого могущества и продолжает влиять на различные стороны повседневной жизни в современной России. ГУЛАГ был официально учрежден в 1930-е годы как система концентрационных лагерей и охватывал территорию Севера России, Сибири и Дальнего Востока вплоть до Центральной Азии. В 1950-е годы, после смерти Иосифа Сталина, был проведен ряд амнистий, массово освобождались заключенные, сокращалось количество лагерей, однако система фактически функционировала до 1980-х годов (см. Васон 1994). ГУЛАГ был огромным подразделением НКВД (Народного комиссариата внутренних дел), которое осуществляло руководство карательными мерами против лиц, представлявших якобы контрреволюционную угрозу и идейно-политическую опасность для советского режима. Категории населения, подвергшиеся репрессиям, были очень различны, начиная от несогласных с советской политикой, кулаков (зажиточных крестьян), частных торговцев, членов некоторых религиозных сект, представителей этнических меньшинств и лиц буржуазного происхождения и заканчивая социальными девиантами (например, проститутками, картежниками, неплательщиками налогов, казнокрадами и инвалидами) (Alexopoulos 2003; Kuntsman 2009). НКВД поставлял миллионы заключенных в качестве бесплатной рабочей силы на гигантские предприятия лесозаготовительной промышленности и золотодобычи в Сибири, на строительство таких важных автомагистралей, как Колымская автодорога (Колымская трасса, получившая название «дорога на костях»), каналов (в том числе и Беломорско-Балтийского) и железных дорог. В 1930-е годы вся добыча природных ресурсов и связанная с ними промышленность попали в ведение ГУЛАГа. Узников ГУЛАГа помещали в трудовые лагеря, где они были обречены на рабский труд и голодную смерть (Beck and Godin 1951; Applebaum 2003; Gregory and Lazarev 2003; Barnes 2011). В эпоху массовых репрессий была повсеместно распространена скрытая сеть полицейской слежки с вездесущими тайны-

ми агентами НКВД, осведомителями и информаторами («стукачами») по всей территории Советского Союза.

В преддверии Великой Отечественной войны началась печально известная «чистка» страны от «врагов народа». После войны из исключительной меры она быстро переросла в правило или, как отмечает Майкл Тоссиг, в *хроническое* чрезвычайное положение (Taussig 1984:467–497). Такое чрезвычайное положение узаконило широкомасштабный террор против населения СССР со стороны НКВД. После учреждения НКВД в 1920-х годах организация часто меняла свой облик и вывески (Fedor 2011)¹. Несмотря на то, что на смену НКВД пришел КГБ, а в постсоветской России – ФСБ, термин «чекист», как пишет Джули Федор, «остался неизменным и используется для обозначения сотрудников советского, а теперь уже постсоветского аппарата национальной безопасности» (Fedor 2011:2). Одной из важнейших составляющих технологии террора НКВД, нацеленной на упрочение советской власти, был широко распространенный дискурс необходимости выявления, разоблачения и осуждения внутренних врагов, то есть «врагов народа». Все это было частью целой социальной сферы секретности, подозрительности и усмирения, которая позволяла вершителям и исполнителям политических репрессий массово ограничивать людей в политических и гражданских правах, депортировать и лишать их свободы в течение нескольких десятилетий (см. Alexopoulos 2003; Verdery 2014).

Учитывая спорную, противоречивую и непростую взаимосвязь трагического наследия ГУЛАГа и постсоветского настоящего, мы посвятили этот специальный выпуск журнала исследованию природы преемственности прошлого ГУЛАГа и настоящего России. При этом особое внимание уделяется тому, как эта преемственность проявляется и раскрывается в спонтанных и неофициальных формах памяти, символической образности и локализованном взаимодействии с заново освоенными пространством и инфраструктурой бывших лагерей и тюрем ГУЛАГа. Исследуя наследие ГУЛАГа и его современные социальные измерения, авторы этого выпуска приоткрывают завесу над теми аспектами прошлого, которым в России до сих пор не уделялось должного внимания.

ГУЛАГ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТ

В настоящее время понимание масштабов страданий, которые НКВД причинил людям, и воспоминания о ГУЛАГе остаются на периферии публичного дискурса. Несмотря на попытки осмысления сталинских массовых репрессий и активизацию антисталинского движения жертв режима, выступавших в конце 1980-х и начале

¹ Аббревиатура «НКВД» использовалась для обозначения советских правоохранительных органов в период с 1934 по 1946 годы, однако до сих пор этот термин широко применяют для обозначения советских органов внутренней безопасности. НКВД предшествовали ВЧК (или ЧК; полностью – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем) и ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление), на смену которым пришел в конечном итоге КГБ (Комитет государственной безопасности), замененный в 1995 году ФСБ (Федеральная служба безопасности).

1990-х годов за реабилитацию, сведения о репрессиях продолжают замалчиваться. В средствах массовой информации ГУЛАГ часто изображают как неотъемлемую часть истории Советского Союза, а насилие в его застенках – как редкие случаи ужаса и нелепых смертей диссидентов, некоторые из которых, возможно, и были невиновны, но большинство были подлинными врагами советского государства. Такой дискурс получил распространение с середины 1990-х годов, когда «культ чекиста претерпел поразительное возрождение [...], а образ чекиста стал опять связываться с образом героя и спасителя российской государственности» (Fedor 2011:2). Нарочитая логическая инверсия по сути обнажает непрерывный процесс непризнания ГУЛАГа. Публичное замалчивание и непризнание являются в значительной степени результатом целенаправленной и многолетней государственной политики (Алексеева 2012; Gheith 2007).

Джехан Гейт называет несколько исторических причин этого замалчивания. Одна из них – то, что в течение 70 лет над бывшими узниками ГУЛАГа висела угроза сурового наказания за рассказы о пережитом в сталинских трудовых лагерях. До конца 1980-х – начала 1990-х годов о ГУЛАГе не говорили. Цитируя российских историков, Гейт пишет: «не то что говорить, а вспоминать было опасно» (Gheith 2007:160). Она утверждает, что «суммарный эффект страха публичных воспоминаний наряду с тем, что жертвы политических репрессий были во многих семьях, имел не только политическое значение [...], но и оказывал сильное воздействие на личные воспоминания» (Gheith and Jolluck 2011:7). Ни сразу после смерти Сталина, ни позже в стране не было публичных судов, общественных слушаний, отсутствовала какая-либо международная дискуссия (как это происходило, например, в случае с Холокостом). Политика, направленная на отрицание того, что происходило в ГУЛАГе, в известной мере сохраняется в России и по сей день. И поэтому было не так много возможностей признания этих воспоминаний, что необходимо для примирения и восстановления справедливости.

Я использую термин «ГУЛАГ» не только для обозначения мест массового принудительного заключения, находившихся в ведомстве Главного управления лагерей, и всего комплекса сталинских тюрем и ссылок, но и как социальный факт, который питал весь этот мир террора и репрессий. Понятие социального факта, введенное Эмилем Дюркгеймом, удобно в данном случае, поскольку относится к силе принуждения, которую общественные институты (правовые системы и нормы, иерархические структуры, идентичности и роли в рамках официальных институтов) оказывают на индивида (Durkheim [1895] 1964). Это своего рода социальный факт, который, по словам Кэтрин Вердери, «близок к тотальному воздействию, вызванному бесконечно усиливающейся защитой государственной тайны» (Verdery 2014:147). ГУЛАГ как социальный факт имел долгосрочные последствия, усилившие депортации, аресты и заключения, масштабы которых оцениваются различными исследователями в цифрах, близких к 25 миллионам человек, прошедших через застенки карательного комплекса (Figs 2007; Gheith and Jolluck 2011). В их число включают и целые этнические группы, которые подверглись публичному осуждению как «враги народа», а затем были высланы в так называемые специальные поселения, зоны изгнания и принудительного труда. Массовая депортация крымских татар, калмыков, русских

корейцев, карачаевцев, чеченцев, ингушей, русских немцев, балкарцев и турок-месхетинцев в северные и восточные регионы бывшего СССР в 1930–1940-е годы была связана с радикальным шагом со стороны советского государства к тотальному административному контролю над категориями населения, считавшимися нелояльными государству (Martin 2001, 2002; Uehling 2004; Viola 2007; Pohl 2014). Неудивительно, что глубокая психологическая травма и страх из трагического прошлого передаются из поколения в поколение.

Цель этого номера журнала видится в том, чтобы с точки зрения различных дисциплин начать разговор о том, как изучать наследие ГУЛАГа с учетом его современных социальных аспектов. Проблемы, с которыми сейчас сталкиваются ученые (историки, антропологи, специалисты в области социально-экономической и культурной географии, социологи, фольклористы), связаны с тем, как осмысливать, интерпретировать и анализировать трагическое, травмирующее и насильно замалчиваемое прошлое в условиях отсутствия этнографических исследований, недоступности архивных материалов, нехватки и фрагментарности статистических и исторических данных, свидетельств, документирующих непосредственный опыт узников ГУЛАГа, в условиях, когда ушедшие из жизни и выжившие узники не оставили (за редким исключением) никаких биографических источников или описаний того, что с ними произошло². Непоследовательность доступных устных рассказов очевидцев, а также отсутствие документальных свидетельств пережитого можно объяснить, как это делает Виеда Скултанс, «неумением жертв зафиксировать свои воспоминания о физической и эмоциональной травме в имеющихся рамках нарративных конструкций [и] трансформировать личное, интимное горе в публичную скорбь» (Skultans 1998:128).

В анализе воспоминаний латышских узников ГУЛАГа Скултанс рассматривает свидетельства переживших заключение и рабство в лагерях ГУЛАГа, в частности, нарративы болезни, в которых люди «жалуются не только на болезненность рассказов о прошлом, но и на непоследовательность своих жизнеописаний» (Skultans 1998:xii). По ее словам, будучи не в состоянии представить связные жизнеописания, они потерпели неудачу дважды – и как действующие лица, и как авторы. Иначе говоря, неудачные попытки, предпринимаемые авторами повествований, разобраться в прошлых страданиях, физических лишениях и в опыте тюремного заключения указывают на влияние травмы на личность рассказчика и его/ее восприятие времени, прошлого и будущего. Если соотнести выводы Скултанс с широко распространенным в среде бывших узников молчанием о ГУЛАГе, то становится очевидным, что молчание и неспособность озвучить собственные переживания о пытках и насилии в значительной мере сами по себе являются вынужденным свидетельством их страданий.

² Кроме, конечно, собрания таких материалов в московском «Мемориале» и его региональных отделениях, а также в нескольких музеях, посвященных ГУЛАГу (например, в Перми) и открытых в постсоветские годы (многие из них подвергаются нападкам со стороны правительства, СМИ и даже общественности). За последние 10 лет появились и тематические научные исследования на русском языке, среди которых можно назвать работы следующих авторов: Адлер (2005), Козлова (2005), Козлова (2008), Фирсов (2008), Гнедовский и Охотин (2011), Алексеева (2012).

За крайне редкими исключениями (см., например, произведения Евгении Гинзбург [(1967) 2010], Александра Солженицына [(1974) 1990] и Варлама Шаламова [(1980) 2005]) именно способность дистанцироваться и отделить себя от опыта дает возможность выстраивать повествование и претендовать на то, чтобы называться жертвой в письменном документе. Однако в этом конкретном случае подобная дистанцированность и эмоциональная отстраненность вряд ли возможны по указанным выше политическим причинам и из-за недосказанности. Переживания и воспоминания о насилии почти не воспроизводятся в нарративной памяти, но неявно и угнетающе присутствуют в сознании тех, кто его пережил, – это делает нарратив и какую-либо попытку нарративизации опыта насилия и статуса жертвы невыносимой и невозможной (см. Scheper-Hughes and Bourgois 2004; а также Caruth 1991; Antze and Lambek 1996; Alexander et al. 2004). Как и Скултанс, при обсуждении феномена межпоколенческой передачи психической травмы американский исследователь феномена травмы и его последствий Кэти Карут утверждает, что человек запоминает акты насилия иначе, чем обычные события жизни. По ее словам, «для истории быть историей травмы означает иное, только ориентировочное восприятие и произошедших событий [...] такая история может быть осмыслена только в недостижимости своего проявления» (цит. по: Argenti and Schramm 2010:13). Таким образом, проблема недосказанности ставит вопрос об исторической репрезентации и, в частности о том, может ли история учитывать затаенные, подавленные и фрагментарные воспоминания. Может ли линейная, позитивистская хронология должным образом оценить субъективные, недосказанные воспоминания о травмированном и жестоком прошлом? Какие дискурсы и контрдискурсы, объекты воспроизведения событий и культурные мероприятия могут помочь противостоять гегемонии молчания и отрицания?

НЕПРИЗНАНИЕ, ЗАПРЕЩЕНИЕ И СТИРАНИЕ ПАМЯТИ

В современной России в публичной сфере коллективной памяти, где гранд-нарратив советского государства переживает возрождение и активно пропагандируется среди широкой публики близкими к Кремлю кругами, похоже, не осталось ни малейшей возможности для беспристрастного, осмысленного подхода к проблеме, в котором нашлось бы место для воспоминаний о страданиях и тяготах тех, кто прошел через ГУЛАГ. Это говорит о том, что если пережитый ими опыт страданий и бессилия так и не был признан каждым из них в отдельности и обществом в целом, то это значит, что жертв навсегда лишили свободы воли, поскольку навязанные извне версии событий будут «постоянно вытеснять и заглушать их собственное представление о своей судьбе» (Skultans 1998:141).

Помимо перечисленных факторов особенно тревожным в данном случае является непреходящее ощущение запутанности и нелогичности при попытке выяснить, кто же действительно был преступником, а кто жертвой бесчеловечных злодеяний. Довольно часто случалось так, что виновников преступлений ГУЛАГа арестовывали и заключали в тюрьму их же соратники по НКВД, и, как и их жертвы, в конечном итоге они отбывали сроки в тех же лагерях. Таким образом, если в интересах госу-

дарства кто-нибудь (преступник) доносил в НКВД на соседа, коллегу по работе, знакомого, друга или дальнего родственника – и тем самым обрекал последнего на арест, заключение и последующую насильственную смерть, – то это ни в коей мере не гарантировало, что рано или поздно этот же доносчик не станет в свою очередь жертвой кого-нибудь другого (см. Dorman 2010:344). Именно произвол, закрытость и злопамятность карательной системы НКВД извращали и продолжают извращать историческую память людей. Система бесповоротно лишала надежды на спасительный смысл, последовательность и справедливый суд на теми, кто попадал в жернова машины государственного насилия. Особенно тревожит в данном случае – со всеми его неясностями и неопределенностями – скрытая возможность перверсии восприятия трагических событий и формирования общественного мнения, которой пользуются прямые наследники НКВД. Если двусмысленность интерпретаций принимается, ими можно с легкостью манипулировать и превращать в «реакционные и ревизионистские формы самооправдания» (Argenti and Schramm 2010:18).

Потенциал забвения и ревизионизма создает пространство для манипуляций и толкования событий прошлого в пользу идеологических интересов тех, кто стремится монополизировать всю сферу воспоминаний о репрессиях. Например, с некоторых пор попытки приватизации старых и создания новых воспоминаний о репрессиях предпринимает Русская православная церковь. Вероника Дорман приводит свидетельства того, как Церковь пытается присвоить память о ГУЛАГе, проецируя представления дореволюционного, средневекового прошлого на советскую тоталитарную эпоху. отождествляя жертв сталинских репрессий со средневековыми русскими православными мучениками, Церковь избирательно увековечивает память россиян и тех жертв, которых преследовали именно за принадлежность к православной церкви. Такая аналогия, выстраиваемая между тоталитарными репрессиями и православным религиозным опытом, усиливает чувство сопричастности среди верующих и превращает память о ГУЛАГе в православный мемориал, что несколько тривиализирует опыт миллионов других жертв (Dorman 2010:327–348). За монополизацией всей сферы воспоминаний о ГУЛАГе угадываются определенные усилия государства по искажению и манипулированию коллективного восприятия трагического прошлого с помощью навязывания людям мнения, согласно которому жертвами ГУЛАГа были в основном представители Русской православной церкви, которые подлежат канонизации (Rouhier-Willoughby, настоящий номер *Laboratorium*). Такая точка зрения совершенно игнорирует тот факт, что среди невинных жертв системы были люди разных вероисповеданий и национальностей, и сферу памяти о ГУЛАГе нельзя сводить к одной национальности и одной конфессии. Она также отвлекает внимание от центральной проблематики репрессий: неоправимости коллективной травмы, нанесенной ГУЛАГом, а также необходимости признать его наследие.

РУИНЫ ВЕКОВЕЧНЫЕ ГУЛАГА

Настоящий выпуск *Laboratorium* по существу является ответом на призыв Энн Столер (Stoler 2013:1–35) уделять особое внимание «материальной осязаемости руин империи». В этом номере речь идет о неизгладимых шрамах, осязаемых «ру-

инах», которые достались нам в наследство от ГУЛАГа. Авторы номера задаются вопросом о том, как и каким образом эти «руины» влияют на человеческие судьбы (см. Ulturgasheva 2012; Barenberg 2014; Mandelstam Balzer, forthcoming).

Отдавая себе отчет в том, что настоящее отмечено непреходящей скорбью ГУЛАГа, авторы статей как бы прошупывают невидимую, но все же осязаемую ткань, соединяющую жестокое прошлое с противоречивым настоящим. Каждая статья представляет собой попытку исследования осязаемых социальных областей, которые задействованы в нынешнем губительном процессе *разрушения* «мест, в которых конденсируется альтернативный смысл истории» и которые «все еще оказывают воздействие на будущее» (Stoler 2013:9). Центральное место в каждой статье занимает эмоциональная сфера общественной памяти, подавленная и скрытая в условиях государственного и уголовного насилия, «в гуще повседневной жизни людей» (5), то есть в пространственной организации современной пенитенциарной инфраструктуры и мер наказания (Pallot, настоящий номер *Laboratorium*), в теневых иерархиях в среде заключенных, их социальных структурах и организации труда, сложившихся в ГУЛАГе (Barenberg, настоящий номер *Laboratorium*; Peshkov, настоящий номер *Laboratorium*), в местах насильственной гибели и страданий жертв ГУЛАГа, которые сегодня задействованы в процессе переосмысления не только представлений о советском прошлом, но и региональной и местной идентичности (Rouhier-Willoughby, настоящий номер *Laboratorium*).

Джудит Пэллот подробно останавливается на том, как пространственная и социальная организация тюремной среды ГУЛАГа по-прежнему используется и продолжает формировать современную пенитенциарную систему России. При этом исследователь приводит убедительные свидетельства женщин-осужденных о современном опыте заключения. Она наглядно показывает, что ссылка, а точнее – «карательное изгнание» (Piacentini and Pallot 2014), остается основной технологией наказания, изначально служившей условием производства индивидов, для которых выживание становится превыше всего. С тех пор ссылка стала стандартной мерой лишения свободы и была закреплена в качестве юридически самостоятельной меры уголовного наказания. Наказание в виде лишения свободы сводилось к перемещению осужденных на периферию, в основном в Сибирь, на Дальний Восток и Крайний Север. Такое географическое распределение современных тюрем является сохранившимся до наших дней пережитком, унаследованным от сталинской системы лагерных поселений. В настоящее время сеть тюрем образует «каторжную дугу» с вкраплениями больших комплексов исправительных учреждений для осужденных.

Пэллот убедительно демонстрирует, что, несмотря на исключение из российской пенитенциарной системы наиболее вопиющих дисциплинарных наказаний ГУЛАГа, опыт современного заключенного сегодня, спустя несколько десятилетий, перекликается с солженицынским описанием опыта ссыльного. Сегодня, как и в прошлом, способ транспортировки в тюрьму оформляется как «пространство, где разыгрывается стандартная практика унижения заключенных с непременным скудным пайком, лаем собак, “шмонами”, регулированием потока, утратой самоконтроля и автономии» (Pallot, настоящий номер *Laboratorium*, с. 36). «Этап» – это

неотъемлемая часть глубоко укоренившегося системного убеждения, что основной формой наказания всех преступников должно быть их насильственное лишение любых привычных социальных связей, в первую очередь – родственных и семейных. Этапирование (транспортировка из транзитной тюрьмы к месту заключения) обычно связано с переброской заключенных по обходным маршрутам и кольцевым дорогам. Этот длительный, изматывающий процесс депортации длится от двух недель до четырех месяцев, и поскольку перемещение арестантов зачастую происходит в ночное время, оно часто приводит к сенсорной депривации, нарушениям зрения (например, к «куриной слепоте»), потере пространственной ориентации и общему ощущению «оторванности от места». Такое обращение с заключенными – часть стратегии, направленной на то, чтобы привести их в состояние бессилия и покорности.

Джинмари Руей-Уиллоби в своей статье обстоятельно описывает, как три конкурирующие идеологии (а именно – доктринальное православие, народное православие и советская идеология и история) участвуют в процессе конструирования местной идентичности и переосмысления памяти о прошлом ГУЛАГа. Уделяя внимание в первую очередь локализованному, специфическому и религиозному восприятию своего жестокого прошлого жителями поселка Ложок в Западной Сибири, Руей-Уиллоби демонстрирует, как память о ГУЛАГе в этом регионе переосмыслиется в течение постсоветского периода. Она подробно останавливается на том, как воспоминания, которые не проявлялись и скрывались в советский период, в наше время обрели частично совпадающие религиозный и государственно-идеологический подтексты. Если доктринальное православие настаивает на сопоставлении страданий жертв ГУЛАГа с религиозным мученичеством, то народное православие акцентирует внимание на местах людских страданий (например, концлагерях, местах расстрелов и тюрьмах) как центрах неформального религиозного поминовения усопших. Например, Руей-Уиллоби показывает, что Святой ключ в Искитиме служит для русских сибиряков местом молитвы и поминовения всех погибших: как мирян, так и духовенства. Одновременно прошлая советская идентичность и символы также переосмысливаются и преобразуются в рамках религиозного этоса. Руей-Уиллоби, ссылаясь на Вердери (Verdery 1999), полагает, что «постсоциалистическое отношение к павшим жертвам социалистической системы дает возможность народу переписать историю и обрести точку отсчета для того, чтобы справиться с потрясениями, которые принес крах этой системы» (Rouhier-Willoughby, настоящий номер *Laboratorium*, с. 67). Акцентирование внимания на жертвах ГУЛАГа как на жестоко замученных верующих задает местному населению рамки для осуждения советской власти и ее прошлых репрессий. В то же время такой дискурс снимает вину с советских властей за несправедливо обвиненных и убитых узников ГУЛАГа. Исключительное внимание, которое уделяется православным мученикам, история их гибели, которая связывается со святым источником, демонстрирует, что именно незыблемая вера и стойкость принесли убитым спасение и прощение. Как отмечалось выше, такой дискурс, воспринимаемый сейчас властями как идеологически безвредный, служит своего рода предохранительным клапаном, который дает местному населению идеологическую

основу для обсуждения хитросплетений российской истории советского периода, неотъемлемой и важной частью которой был ГУЛАГ.

Иван Пешков в своей статье изучает опыт современных заключенных, уделяя особое внимание теневой иерархии и рассматривая ее в связи с проблематикой, касающейся солидарности уголовных преступников, которую автор называет «уголовным космополитизмом». Он находит корни солидарности заключенных в наследии ГУЛАГа, когда все они, независимо от этнической или национальной принадлежности, социально-экономического положения, становились равными перед лицом репрессивного механизма НКВД. Несмотря на космополитический характер, как утверждает Пешков, солидарность осужденных служит важнейшим элементом поддержания социальной иерархии в их среде. Последнее выражается в особом кодексе чести и общежития в тюремных стенах, который не разделяет заключенных по месту рождения, национальности или расовой принадлежности. Разделение здесь происходит в соответствии с криминализованной классификацией – по кастам, кланам и гендерным ролям заключенных. Поэтому, как и в случае ГУЛАГа, прошлые межэтнические разногласия не играют решающей роли в том, какое место займет заключенный в тюремной иерархии. Что важно для успешной социальной интеграции заключенного в тюремном мире – это его умение соблюдать специальный тюремный кодекс («понятия»), демонстрируя свою преданность неписаным законам тюремного сообщества и готовность прибегать к жестокому насилию (например, изнасилованию), тем самым отстаивая свое место в этой иерархии.

Эссе Алана Баренберга наглядно демонстрирует, как из социальных структур бывших заключенных, которым так и не разрешили вернуться на родину, формировалось население таких городов, как Воркута (один из крупнейших центров ГУЛАГа на севере нынешней Республики Коми). В ходе «де-зонификации» в 1950-е годы граница между «зоной», где находились заключенные, и «не-зоной», где пребывало гражданское население, оказалась размытой, что способствовало смешению «тюремного» и «нетюремного» населения. «Тот факт, что строящиеся дома предназначались непонятно для какой категории жильцов, в дальнейшем приводил к этой неопределенности в пространстве» (Barenberg, настоящий номер *Laboratorium*, с. 99). Город превратился в расширившееся пространство «зоны» без четких границ, в котором сети социальных связей заключенных сохранили свой социальный капитал со времен ГУЛАГа. Совместный опыт ссылки и заключения помогал поддерживать структуры взаимовыручки среди бывших заключенных, а также соблюдать сложившуюся в их среде иерархию. Баренберг уточняет, что такая взаимовыручка «могла принимать форму предоставления временного жилья при поиске постоянного, помощи в трудоустройстве или при поселении в общежитие» (Barenberg, настоящий номер *Laboratorium*, с. 100–101).

Если в текстах Пешкова и Баренберга внимание уделяется тому, как социальные структуры ГУЛАГа сохраняли свою значимость спустя десятилетия после его формальной ликвидации, и тому, как формы социальности, присущие заключенным, реконструируются в особых кодексах криминального поведения и иерархии, то работа Пэллот показывает, как послесудебное заключение под стражу и пере-

мещение служат воспроизводству тех же форм лишения свободы и тюремного заключения, которые применялись и в эпоху ГУЛАГа. Как будто в машине времени, современные заключенные двигаются по тем же маршрутам, переживают практически тот же опыт ареста, ссылки, заключения и участия в тюремных и лагерных социальных структурах, тем самым лишний раз подтверждая, что ГУЛАГ – и как система ссылки и заключения, и как социальный факт – по-прежнему живет и процветает. Действительно, долгосрочные последствия ГУЛАГа не только накладывают свой отпечаток на современный повседневный опыт и обустройство российских исправительных учреждений, но и в значительной мере являются весомым осадком, отложившимся в социальных кодах и структурах, иерархиях и космологиях этих сообществ, разбросанных по всей стране. ГУЛАГ как социальный факт остается живым хранилищем виктимизации, виктимности и травмы, и, скорее всего, намного переживет политическую и идеологическую машину, его породившую.

*Авторизованный перевод с английского
Дика Киселёва*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Адлер, Нэнси. 2005. *Трудное возвращение: Судьбы советских политзаключенных в 1950–1990-е годы*. М.: Общество «Мемориал».
- Алексеева, Людмила. 2012. *История инакомыслия в СССР: новейший период*. М.: Московская Хельсинкская группа.
- Гинзбург, Евгения. [1967] 2010. *Крутой маршрут*. М.: АСТ.
- Гнедовский, Михаил и Никита Охотин. 2011. «Страдание как экспонат, или Музей строгого режима». Материал основан на докладе, прочитанном на конференции «История сталинизма. Принудительный труд в СССР: экономика, политика, память», 28–29 октября, Москва.
- Козлова, Алёна. 2008. «Следы ГУЛАГа в семейном архиве». *Отечественные записки* 44(5):137–143.
- Козлова, Наталья. 2005. «Жертва». С. 335–371 в *Советские люди. Сцены из истории*, под ред. Натальи Козловой. М.: Европа.
- Солженицын, Александр. [1974] 1990. *Архипелаг ГУЛАГ, 1918–1956. Опыт художественного исследования*. В 3-х томах. М.: Центр «Новый мир».
- Фирсов, Борис. 2008. *Разномыслие в СССР, 1940–1960-е годы: История, теории и практики*. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.
- Шаламов, Варлам. [1980] 2005. *Колымские рассказы*. М.: Эксмо.
- Alexander, Jeffrey C., Ron Eyerman, Bernard Giesen, Neil J. Smelser, and Piotr Sztompka. 2004. *Cultural Trauma and Collective Identity*. Berkeley: University of California Press.
- Alexopoulos, Golfo. 2003. *Stalin's Outcasts: Aliens, Citizens, and the Soviet State, 1926–1936*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Antze, Paul and Michael Lambek, eds. 1996. *Tense Past: Cultural Essays in Trauma and Memory*. New York: Routledge.
- Applebaum, Anne. 2003. *Gulag: A History*. New York: Doubleday.
- Argenti, Nicolas and Katharina Schramm. 2010. *Remembering Violence: Anthropological Perspectives on Intergenerational Transmission*. New York: Berghahn.
- Bacon, Edwin. 1994. *The Gulag at War: Stalin's Forced Labour System in the Light of the Archives*. New York: New York University Press.

- Barenberg, Alan. 2014. *Gulag Town, Company Town: Forced Labor and Its Legacy in Vorkuta*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Barnes, Steven A. 2011. *Death and Redemption: The Gulag and the Shaping of Soviet Society*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Beck, Frederick and William Godin. 1951. *Russian Purge and the Extraction of Confession*. London: Hurst and Blackett.
- Caruth, Cathy. 1991. "Unclaimed Experience: Trauma and the Possibility of History." *Yale French Studies* 79:181–192.
- Dorman, Veronika. 2010. "From Solovki to Butovo: How the Russian Orthodox Church Appropriates the Memory of the Repressions." *Laboratorium: Russian Review of Social Research* 2(2):327–347.
- Durkheim, Emile. [1895] 1964. *The Rules of Sociological Method*. New York: Free Press.
- Fedor, Julie. 2011. *Russia and the Cult of State Security: The Chekist Tradition, from Lenin to Putin*. London: Routledge.
- Figes, Orlando. 2007. *The Whisperers: Private Life in Stalin's Russia*. New York: Metropolitan Books.
- Gheith, Jehanne M. 2007. "'I Never Talked': Enforced Silence, Non-Narrative, Memory, and the Gulag." *Mortality* 12(2):159–175.
- Gheith, Jehanne M. and Katherine R. Jolluck. 2011. *Gulag Voices: Oral Histories of Soviet Incarceration and Exile*. New York: Palgrave Macmillan.
- Gregory, Paul R. and Valery Lazarev, eds. 2003. *The Economics of Forced Labor: The Soviet Gulag*. Stanford, CA: Hoover Institution Press.
- Kuntsman, Adi. 2009. "'With a Shade of Disgust': Affective Politics of Sexuality and Class in Memoirs of the Stalinist Gulag." *Slavic Review* 68(2):308–328.
- Mandelstam Balzer, Marjorie. Forthcoming. "Local Legacies of the GULAG in Siberia: Anthropological Reflections." *Focaal*.
- Martin, Terry. 2001. "Stalinist Forced Relocation Policies: Patterns, Causes, Consequences." Pp. 305–339 in *Demography and National Security*, edited by Myron Weiner and Sharon Stanton Russell. Oxford: Berghahn.
- Martin, Terry. 2002. *The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Piacentini, Laura and Judith Pallot. 2014. "'In Exile Imprisonment' in Russia." *British Journal of Criminology* 54:20–37.
- Pohl, J. Otto. 2014. "Colonialism in One Country: The Deported Peoples in the USSR as an Example of Internal Colonialism." *Journal of Race, Ethnicity, and Religion* 5(7):1–27.
- Scheper-Hughes, Nancy and Philippe I. Bourgois. 2004. *Violence in War and Peace: An Anthology*. Oxford: Blackwell.
- Skultans, Vieda. 1998. *The Testimony of Lives: Narrative and Memory in Post-Soviet Latvia*. London: Routledge.
- Stoler, Ann Laura. 2013. "'The Rot Remains': From Ruins to Ruination." Pp. 1–35 in *Imperial Debris: On Ruins and Ruination*, edited by Ann Laura Stoler. Durham, NC: Duke University Press.
- Taussig, Michael. 1984. "Culture of Terror—Space of Death: Roger Casement's Putumayo Report and the Explanation of Torture." *Comparative Studies in Society and History* 26(3):467–497.
- Uehling, Greta Lynn. 2004. *Beyond Memory: The Crimean Tatars' Deportation and Return*. New York: Palgrave Macmillan.
- Ulturgasheva, Olga. 2012. *Narrating the Future in Siberia: Childhood, Adolescence and Autobiography among the Eveny*. Oxford: Berghahn.
- Verdery, Katherine. 1999. *The Political Lives of Dead Bodies: Reburial and Postsocialist Change*. New York: Columbia University Press.
- Verdery, Katherine. 2014. *Secrets and Truths: Ethnography in the Archive of Romania's Secret Police*. Budapest: Central European University Press.
- Viola, Lynne. 2007. *The Unknown Gulag: The Lost World of Stalin's Special Settlements*. New York: Oxford University Press.